

В ноябре 2018 года мы сестрой были приглашены в Санкт-Петербург на Международную научно-литературную конференцию «Слово. Отечество. Вера», посвященную 95-летию Игоря Николаевича Григорьева. Слушая стихотворения этого поэта, ближе знакомясь с фактами его биографии, я не могла не вспомнить нашего земляка — Константина Дмитриевича Воробьева. Они ведь из одного полка — писательско-солдатского. Много в нем славных, по-настоящему героических имен. Кто-то из этих бойцов пал, поднимаясь в атаку, кто-то был замучен в фашистском плену, кто-то дошел до Победы и понес новым поколениям правдивое и мужественное слово. Одни из них сражались пером уже в годы Великой Отечественной войны, другие только собирали на полях битвы мировой эпизоды произведений, которые будут написаны после ее окончания.

У Григорьева и Воробьева немало общего в биографии. Оба родились среди лугов и полей. Григорьев — на хуторе рядом с деревушкой Ситовичи Порховского района Псковской области, Воробьев — в селе Нижний Реутец Медвенского района Курской области. Оба, уехав из родных мест, сохранили с ними духовную связь. «Потом, годами позже, Алешка понял, что в жизни нельзя уйти куда-нибудь всему разом, потому что тогда не с чем будет жить памяти. Видно, поэтому позади у него остался грустный неуют двора и дряхлый бродяга мерин, заглохший сад и таинственная Бешеная лощина, горячий лепет Любача и пасмурное затишье Устиньина лога, жуткое Уручье и манящие костры стойла, лютая оскомина от украденных яблок и липовый дух скошенных лугов. Все-все это, пополам с живой памятью о деде, осталось там, где ему и положено быть, и, причудливо-тесно вместились в Алешкино сердце, навсегда стало для него тем, что люди извечно называют любовью к Родине», — так заканчивает Воробьев «Сказание о моем ровеснике». Здесь впервые появляется герой Алексей Ястребов, которому предстоит стать на пути врага в повести «Убиты под Москвой». «Сказание...» пронизано теплыми воспоминаниями детства самого писателя. Место действия повести — Шелковка — это улица в Нижнем Реутце, где появился Воробьев на свет. Здесь когда-то потрясли «все корешки его души: колокольный звон в росистом утре, слово привета, радость открытия...». Он ушел в большую жизнь из хаты, чем-то похожей на мать. Из села, «затонувшего во ржи», унес с собой «никогда не потухающее солнце». И его ровесники уходили на войну из таких же дорогих, стоящих на вековых фундаментах домов. И каждого в самую тяжкую годину согревало великое русское солнце. «Детство — это посох, с которым человек выходит в жизнь», — писал Воробьев. В стихотворении «Сон о доме» его ровесник Григорьев подтверждает:

Не признаешь меня?

Я — твой дом,

По-старому то есть — судьба-опора.

Эти опоры помогли вчерашним мальчишкам выстоять в «сороковые, роковые». В начале войны Константин Дмитриевич Воробьев был направлен в Кремлевское Краснознаменное пехотное училище, которое закончил по ускоренной программе в звании лейтенанта. В декабре 1941 года рота курсантов, в состав которой входил наш земляк, приняла бой под Клином. Тяжело раненный Воробьев попал в плен. Был в Ржевском, Клинском, Смоленском, Каунасском, Саласпилском и Шяуляйском концентрационных лагерях. В тюрьмах — Паневежской и Шяуляйской. Трижды бежал. 24 сентября 1943 года, когда вырвался на свободу, считал вторым днем своего рождения.

К. Д. Воробьев командовал подпольной группой литовского партизанского отряда «Кястутис». В декабре 1943 года — январе 1944 его группе пришлось уйти в глубокое подполье, рассеяться. За тридцать дней Воробьев написал книгу о том, что пережил в концентрационных лагерях. Впервые произведение было напечатано уже после смерти автора в 1986 году в журнале «Наш современник» под названием «Это мы, Господи!..» Я не раз слышала от своих земляков медвенцев, что книги Воробьева о войне читать трудно, тяжело. Перечитать их — значит растревожить сердце, испытать сильнейшую душевную боль. Да. Не каждый может написать так, что страдание чужих незнакомых людей станет твоим страданием. Воробьев мог. Произведение его о войне, как заметил Е. Носов, «кровоточат каждой своей строкой».

В 1947 году, отдыхая на Рижском взморье, Константин Дмитриевич и его супруга, соратница по подпольной борьбе Вера Викторовна ездили на место, где располагался Саласпилский лагерь. Сосны там стояли без коры. Ее съели пленные, и «раны» на деревьях так и не зарубцевались. «Мне иногда не верится, что это было со мной, а как будто приснилось в кошмарном сне», — сказал тогда Воробьев. Не верится, но было. И Ржевский лагерь выделялся черным пятном в зимние холода потому, что был «съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега». И терпели адовы муки заключенные в «Долине смерти». И были сто пятьдесят граммов плесневелого хлеба из опилок и четыреста двадцать пять граммов варева из крапивы в сутки, и эсэсовцы, вооруженные лопатами, убивали беззащитных людей из спортивного интереса. Но там же, в «образцово-показательных местах убийства пленных», были и мужество истерзанного страданиями человека, и протянутая товарищу рука, и упрямая вера в конечное торжество русского оружия. Об этом, не боясь разбередить собственные раны, причинить боль читателю, рассказал Воробьев в повести «Это мы, Господи!..» Рассказал, чтобы помнили...

А 15 июля 1941 года в стихотворении «Постижение» семнадцатилетний Игорь Григорьев писал о том, какими он увидел захватчика и вставшего на его пути советского человека:

*Не помня, что такое — милость,
Забыв, что есть на свете месть,
В «сверхчеловека» обратилась
Тевтонская тупая спесь.
С чужих ремней любая пряжка
Кошунствовала: «Готт мит унс».
И к лютой виселице тяжко
Шел раненый великорус.
Перекрестился троекратно:
— Деревню взяли не во сне!
Вздыхайся, Русь, на дело ратно!
И закачался на сосне.*

Это кричит сам Григорьев, который не может видеть поработанной Родину, не может в тяжкий час сидеть сложа руки. По его инициативе на Псковщине, в поселке Плюсса, была создана подпольная группа. Григорьев руководил ею до присоединения к местным партизанам. Потом служил в бригадной разведке 6-ой Ленинградской партизанской бригады. Был четырежды ранен, дважды контужен... Одними, одними тропами ходили Григорьев и Воробьев — партизанскими. И одна боль была навывлет в молодые их сердца.

Григорьев не был в плену. Но оккупацию он сравнивает со страшной этой бедой. Одно из стихотворений 1941 года поэт так и назвал «В плену»:

*Приглашенный объятьем октября,
Ольховый лист сгорает, не горя,—
Без жара, без огня, покорно и темно...
Душе, как родине плененной, горевно.*

В стихотворении «Лихо» звучит та же мысль:

*Немо краснолесью, слепо лучезарью:
Свет погашен сталью, высь набрякла гарью.
Ни «ау!», ни эха, ни смешинки малой —
Лихо, плен, глумленья злобы небывалой...
...Дом военнопленный без трубы и крыши,
Ты и в тяжких ранах «юнкеров» превыше.
Не скулишь: «Пощады!», не сулишь прощенья,—
Кто тебя осудит в страшный час отмщенья!*

Этим призывом к сопротивлению пронизано, как мне кажется, практически каждое военное произведение И. Григорьева. 1 января 1942 года в Плюссе он написал стихотворение с символическим названием — «Непокорство». Перед читателем зримо предстает человек с полными боли глазами, со стиснутыми зубами, с крепко сжатыми кулаками. Человек, готовящийся нанести оккупанту смертельный удар и самому погибнуть, если того потребует дело:

*Будто мать горевая
Над сынком, в крови лежащим,
Жжет метель, стена-взвывая
Неподдельным русским плачем...
...А кругом, в ночи-неволе,—
Ворог, проклятый трикраты.
Замерзает наше поле,
Замирают наши хаты.
Но мы слышим, слышим, слышим
Жаркий голос русской вьюги.
Да! Мы дышим, дышим, дышим —
Копим жилистые руки!*

И такое же непокорство живет в героях повести Воробьева «Это мы, Господи!..». В аду концлагерей они хранят в себе «то», что «можно вырвать, но только цепкими когтями смерти... Оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки, оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем! “Терпи и береги меня! — приказывает оно. — Мы еще дадим себя почувствовать!”» Плененные, но непокоренные. Мало кому из них дано было вырваться из-за колючей проволоки, вернуться в строй.

Реквиемом замученным звучат строки Григорьева:

*Восемьдесят пять тысяч
в одной могиле!
И некого звать,
Никому не восстать.
А ведь все они
Были,
Были,
Были!
Но часы пробили,
Часы пробили —
Душегубки дымили, дымили, дымили:
Восемьдесят пять...
Восемьдесят пять...
Восемьдесят пять...*

Книгу о плене Воробьев думал назвать «Дорога в отчий дом». В одном из произведений наш земляк пишет: «Он еще издали поклонился селу за то, что родился в нем, и за то, что сохранил к нему бессловесную любовь и преданность». А мы кланяемся Воробьеву, кланяемся Григорьеву за то, что донесли они до нас, сегодняшних, судьбы, надежды миллионов солдат, сгинувших бесследно в горниле Второй мировой. Тех, о ком в Книге Памяти сказано по-военному сухо и коротко: «погиб в бою», «пропал б/вести», «умер от ран»... Ведь произведения писателей-бойцов, читатель, возможно, о твоих близких тоже, они и о моих дедах, которым не суждено было вернуться в отчий дом.

После войны и у Воробьева, и у Григорьева была насыщенная, интересная жизнь. Они много и плодотворно работали. Двадцать два прижизненных поэтических сборника вышло у Игоря Григорьева. Стихотворения его переведены на белорусский, сербский, якутский языки. За четверть века Воробьев написал более тридцати рассказов, десять повестей. Произведения нашего земляка печатались в Вильнюсе, в Германии, в Венгрии, в Польше, в Болгарии. Немало трудностей подстерегало в мирной жизни героических фронтовиков.

Но оба сохранили «военную выправку души». Григорьев пишет о себе: «Человек я верующий, русский, деревенский, счастливый, на все, что не против Совести, готовый! Чего еще?» И вот так, уже поэтическими строками:

*Не дальше людской дорога,
Которой Бог меня вел.
Не каюсь: продрог немного —
Всю жизнь нараспашку шел.
Не крепче других мотало
Меня. Но бывало всяк:
Хлебнул огня и металла,
И пять штыковых атак.
Сполна и любил, и верил,
И брал, и платил, что мог.
Перед озябшими дверями
Не затыкал на замок.*

А вот слова Воробьева о себе (цитирую по памяти): «Я был настоящим русским, потому что никогда не просил награды за свои дела». Интересно его юношеское поэтическое признание: «Лишь мечта об “Исусовом свете” стала явью на фронте мне». И такое свидетельство. 27 сентября 1987 года приехавшая в Нижний Рутец на Воробьевские чтения вдова Константина Дмитриевича Вера Викторовна написала на газете «Курская правда»: «Только правда и честность делает человека сильным духом! Это завет Воробьева».

Оставил нам писатель-фронтовик и другие заветы. Вера Викторовна вспоминала: «Его можно отнести к породе людей жизнелюбивых, таких, знаете, солнечных... Был убежден, что природа платит ему взаимностью». По грибы ходил писатель в белой рубашке, на рыбалку — в оранжевой. А это уже признание Григорьева: «...Лес всегда был моим закадычным приятелем и вторым домом. И донныне мы с лесом на “ты”...» По воспоминаниям современников, любил он рыбалку, где отдыхал душой. И опять киваешь себе: из одного полка Воробьев и Григорьев. И один прозой, а второй стихом сражались и продолжают сражаться за человеческое в человеке.

В стихотворении «Солдаты» Григорьева есть такие строки:

*Все полно отбоем,
Все в добром покое:
И земли, и воды, и люди.
И шаг до палаток.
Но дело такое:
— Солдаты! Отбоя не будет!
Нам
нету отбоя,
Не время покоя —
На то мы, солдаты, и служим...*

Они и о Воробьева, о многих и многих их ровесниках. Нет их на земле давным-давно. Но так уж устроен мир, что истинные мастера слова и после смерти остаются с читателями.

И белоснежные прекрасные птицы из рассказа Воробьева поселяются в твоей душе навсегда. И замирает сердце от чистого, как небесная лазурь, слова «Синель». И понимаешь: книги Воробьева нужны, просто необходимы, и тебе, и твоим детям, и внукам. «...И всему роду твоему».

И сквозь толщу лет слышим мы «Набат» Григорьева и со слезами благодарности повторяем строки его:

*Поле читает стихи наизусть,
В них беспечальная грусть.
О, Русь!
Солнце и звезды, и травы твои,
Тучи, снега и ручьи —
Как соловьи.
Я их услышал, родившись едва,
Родины тихой слова:
Вечно жива!*

